

Щенок вернул их обратно в их квартиру, осторожно неся отродье на сгибе локтя — рот отродья был всё ещё липким от жжёного сахара с карамельных яблок и сладкого соуса шариков такойки, руки отродья обвилились вокруг шеи Щенка. Рядом с ним короткие ноги Курамы делали в равной степени короткие шаги. Это была медленная ходьба. Щенок, поскольку он достаточно хорошо знал, что Курама ни за что не опустится до позора, который из себя представляло перемещение в чьих-то руках, подстраивал свои шаги под его.

Курама удерживал глаза открытыми, лихорадочно моргая. Источники света расплывались на краях его зрения. Их всё ещё было бесчисленное число помимо обычных уличных ламп. Фонари свисали с бельевых верёвок и ручек дверей, висели у порогов домов; красная и жёлтая бумага, через которую проглядывали укорачивающиеся палочки свечей.

Дальше по улице, мимо закрытого магазина на углу, вверх по каменным ступенькам многоквартирного дома, к двери 115, где Курама попытался выловить ключ из-под кошмарного "Добро пожаловать" коврика, но уронил его неожиданно неуклюжими пальцами. Он не коснулся земли. Щенок поймал ключ в воздухе раньше, чем он смог приземлиться. Он вставил ключ в замок рукой, которая не была занята удерживанием веса отродья, и снял свои ботинки на входе.

Внутри стояла тишина, нарушаемая только электрическим гудением старого холодильника и приглушёнными шагами самого Курамы по деревянному полу. Никто не включил свет. Шторы, однако, были распахнуты, и вокруг было достаточно освещения, чтобы видеть обстановку. Курама наблюдал за тем, как Щенок свернул в короткий коридор, соединяющий личные комнаты с гостиной, скорее всего, чтобы уложить отродье в кровать.

Ноги Курамы болели. Ай. Он сел на диван.

Едва прошла минута, прежде чем сигнатура Щенка сдвинулась обратно наружу, в гостиную. Его силуэт был тёмным в полумраке, его волосы — тускло-серебряными в плохом освещении. Он сдвинул свою фестивальную маску в сторону, и его чакра начала менять оттенок в сторону спокойствия, которого Курама никогда не чувствовал от Щенка, который был нестабильным источником искр отвращения и сожалений в свои лучшие дни.

Щенок уставился на Кураму.

Курама уставился на него в ответ.

— Тебе стоит поспать.

Это было утверждение. Щенок говорил так, когда он вообще заморачивался с тем, чтобы говорить.

Усталость тянула за веки Курамы. Он упрямо держал их открытыми.

— Я буду спать, когда я захочу.

— М-м.

Курама был великолепен в прекращении разговоров, Щенок не был великолепен в том, чтобы их продолжать, по крайней мере, не разговоры с Курамой, и Щенок всегда, всегда прерывал зрительный контакт первым. Курама слушал звуки того, как он призраком проскальзывает на кухню и открывает холодильник, а потом шуршание пенопласта и полиэтиленовых пакетов от недоеденной еды на вынос, сложенной на полки. Он ушёл так же, как и обычно, бесшумно выпрыгнув из окна гостиной, которое вскоре после этого само собой закрылось.

Курама выдохнул.

Он чувствовал завершающие боли этого дня. Они били в его челюсть и сквозь тонкую кожу и кость виска его оболочки. Кроме того, они были невероятно решительно настроены закрыть веками Курама его глаза, так что он просто нагло держал их упрямо распахнутыми. Его руки слегка дрожали. Это было не из-за истощения. Это могло бы быть из-за истощения, но это было несколько неясно. Его перегруженный разум бегал кругами, и он не был уверен почему. Что это было — был ли это страх, или волнение, или спокойствие. Или это все трое, смешанные вместе, разъедающие и впивающиеся когтями, что жалили теперь, когда не было гнева, чтобы отшвырнуть их прочь. И Курама ненавидел это — что у него были такие чувства, что он был создан способным испытывать такие вещи, но как и большинство всего прочего, это был отдалённый гнев. У него были более важные проблемы.

Часы показывали 3:10. Курама был уставшим и недовольным, и это должно было сделать его ещё более недовольным, но он всё равно выкрал свои тетради из шкафчика в ванной. Он осторожно пробрался обратно к столу в гостиной и склонился перед ним. Фестивальная юката подметала собой деревянный пол.

Части печати шли вот так:

Таблица три на три, белая бумага, чёрные чернила, беспощадная геометрическая точность. Всего их было девять. Девять компонентов печати и, следовательно, девять листов, разложенных край к краю. Они были совершенно понятны, если рассматривать их по отдельности. Здесь, сверху слева — цепи чакры. Здесь, снизу справа — усиление. Здесь, сверху справа — Инь-Янь стабилизатор. Здесь, посередине — короткие мазки кистью, управляющие циркуляцией, прокручивающие минимально необходимую для подпитки печати чакру.

Сложи все компоненты так, чтобы они повторяли собой оригинал, наклепленный поверх пупка Курамы, и всё это понятие испарялось. Усилитель падал поверх стабилизатора, сеть чакроциркуляции скручивалась, а цепи чакры оказывались на самом нижнем уровне, впихнутые рядом с управляющей матрицей.

Курама уставился на печать и попытался придать ей смысл одной лишь чистой силой воли.

Это не сработало. Это никогда не срабатывало.

Его глаза чесались. Часы тикали. Он слышал храп отродья.

В конечном счёте он отложил печать в сторону. Курама был совершенно не удивлён видеть буквы плавающими через края его поля зрения каждый раз, когда он моргал.

Три, почти четыре часа утра были странным местом. Тонкое одеяло усталости улеглось словно забытая тяжесть, незаметное, пока он не обращал внимания, но выбивающее из равновесия, когда он обращал. Сияние огней с улицы всё ещё проникало через шторы. Курама собрал одеяла в кучу на своих коленях, сжимая пальцы на ткани.

Он закрыл глаза ненадолго и не знал, когда заснул.

\*\*\*

Он проснулся от резкого звука чего-то разбивающегося.

— Ой, чёрт, — сказала отродье.

— Штоа, — произнёс Курама, что было слишком-рано-чтобы-жить версией "что-происходит".

Он перевернулся. Он не ушёл слишком далеко, прежде чем нехватка энергии подвела его — он всё ещё на три четверти застрял во сне. Потребовалось ещё несколько мгновений обильных ругательств со стороны отродья и размытое пятно, метнувшееся в угол гостиной в поисках совка для мусора, прежде чем Курама медленно поборол одеяла и приподнялся, опираясь на подлокотник. Он прищурился, глядя на часы. Пять тридцать вечера следующего дня. Красноватое сияние прорезалось сквозь теперь распахнутые занавески, чтобы вырезать ровный квадрат на полу и полосках Кураминых одеял.

Звякнула керамика.

— Надеюсь, это был не чайник, — пробормотал Курама.

— Это не он!

Отродью было выделено ограниченное время для пребывания на кухне по многим причинам: его нехватка кулинарного таланта была одной из них, а его склонность ронять вещи — другой. Курама вытащил себя из тепла, проверил, что ничего важного не было разбито — это была просто тарелка — а потом вытолкнул и отродье, и совок прочь, как только беспорядок был

убран. Следующие несколько действий были автоматическими. Он ещё не проснулся полностью, но ради еды ему это было и не нужно. Чай шёл в первую очередь. Положить заварку, вскипятить воду. И он, и отродье пили его одним и тем же способом — то есть с достаточным количеством сахара и молока — так что Курама соответствующим образом наполнил две чашки и достал недоеденную еду, оставленную Щенком прошлой ночью.

Курама выпил свой чай, поел холодной форели с мисо и пропустил мимо ушей всю болтовню отродья обо всём, что они делали на фестивале. Потом было шесть часов, посуда была в раковине, отродье было в ванной, и когда все вокруг начало наконец-то терять свою периферийную размытость и регистрироваться как реальность, Курама наполовину выпил свою третью чашку чая.

Он уставился на неё.

Пар оборачивался вокруг его пальцев.

Он помнил прошлую ночь. Воспоминание казалось растянутым. Бессвязным. Оно было немного похожим на сон. Станным. Слишком яркие огни против слишком резких контрастов. И он был — в настоящем. Он был — наблюдателем. В ловушке. В этом не было ничего нового.

Но в то же время ему было так холодно, что он онемел. Фонари, звуки и окружающие ощущения. Они не исчезли. Он хотел, чтобы они исчезли. Он не хотел, чтобы они исчезли. Он смотрел на свой чай и лениво думал о том, мог ли бы он просто выйти из ворот Конохагакуре.

Он не мог, очевидно. Это никогда не сработает. Но мысль о том, чтобы сделать это...

Была глупой. Вот какой она была.

Крайне глупой.

Глядя в зелёную муть своего чая, Курама несколько раздражённо задавался вопросом, не заболела ли его оболочка опять.

Болезни были вещью, что выпадали на долю оболочки с ужасающей частотой. И когда это случалось, Кураме, бывало, приходили в голову странные мысли. Прошлой зимой был отрезок времени длиной в два дня, когда он был в таком бреде от лихорадки, что мысль о вымастивании секретов печати из Человека-Обезьяны с помощью свиного рамена казалась вполне осмысленной. То, что происходило с ним сейчас, очевидно, не было лихорадкой. Курама не был бы способен идти прямо, будь это так. Но были и симптомы, которые совпадали: летаргия и неспособность вылезти из кровати, головные боли и время от времени бредовое состояние. Время года тоже совпадало — переход между осенью и зимой. Только то, что Курама не шмыгал носом, не означало, что он не заболел опять. Существовало такое множество странных болезней, которым оказались подвержены люди — аутоимунные и бактериальные, и вирусные, и просто простуда — что было странно, как их популяция вообще

выжила в своих мягких маленьких мясных мешках. Курамин личный мягкий маленький мясной мешок тоже не помогал. У него было плохое кровообращение и слабые лёгкие, и катастрофа на месте системы чакры. У отродья не было ничего подобного, предположительно, потому, что отродьев мясной мешок был слеplен естественным способом.

Заболевшая оболочка обычно означала несколько ужасных недель, прежде чем Кураме станет лучше.

Он бросил взгляд на календарь. Сейчас действительно было это время года. То, что Курама обычно подхватывал, было липкой простудой — всегда с разными осложнениями, но всё ещё в категории "простуды" — вместе с одной незабываемой зимней неделей пневмонии. К нынешнему моменту он был, к своему крайнему сожалению, близко знаком со всеми списками вещей, необходимыми для выздоровления.

Это было — нормально. Он мог разобраться с обычными делами оболочки. И тут всё равно не было другого объяснения, кроме оболочки, если подумать, потому что он прожил две тысячи лет и никогда раньше не чувствовал это... что бы это ни было.

Болезни уходили прочь.

Курама провёл по краю своей кружки ногтем большого пальца.

Всё наладится.

\*\*\*

Ничего особенно не наладилось.

Некоторые дни шли хорошо и продуктивно, и Курама проводил время за едой, строя планы и время от времени становясь жертвой отродья, которое вытаскивало Кураму заниматься бессмысленными делами на улице, в то время как температура падала и увядали листья. Другие дни шли... не так. Он просыпался и садился на кровати, и тарасился на одеяла, и ничего так больше не хотел, как не делать ничего, совершенно ничего, как будто в его крови был цемент, и из-за этого процесс движения был какой-то непреодолимо тяжёлой задачей. В такие дни он сидел на диване, полу или балконе. Он пялился на пятна на потолке, или на узоры на одеялах, или в никуда, на какое-нибудь пустое пространство над Конохагакуре, развернувшейся в миниатюре перед ним, и таким образом коротал время.

Курама пил много чая, много спал и старательно заворачивался в слои одеял.

Всё совершенно не налаживалось.

Выпадение из реальности, судя по всему, было одним из симптомов, что было смехотворно, но в то же время на практике оно казалось самым преобладающим, за исключением думания. Если он не выпадал из реальности, то он думал, а если он не думал, то это было потому, что его что-то от этого отвлекало. Одни и те же мысли ходили, наступая друг другу на пятки, словно бесконечные циклы: тупая печать, тикающее ограничение по времени, полная и совершенная недопустимость пребывания Курамы в деревне. Только вот прошли настоящие годы и годы, и что если он так и застрял? Пропускание этого вопроса через его череп было просто — парализующе. Он не мог так застрять. Он не мог. И как только эта спираль начиналась, как только Курама начинал размышлять над тем, что все эти нежеланные исходя были, к сожалению, не такими уж и невозможными, он зажимал себя в пространстве, где чувствовал, что тонул.

Отродье хорошо отвлекало.

Когда рядом были другие, становилось легче. Они были — отвлекающими. Когда они присутствовали, Кураме приходилось фокусироваться на них. Старые привычки и эмоции вставали на место — большей частью этих эмоций было раздражение. Спектр гнева был знаком, и Курама был хорош в том, чтобы цепляться за эти чувства и сжигать их как топливо.

Некоторые дни были хорошими. Ему помогало выходить на улицу.

Он ходил в библиотеку за медицинским перечнем заболеваний и вернулся с ним и учебником по анатомии. Они тоже не особенно помогли, потому что не рассказали ему совершенно ничего. Болезни были многочисленными, и симптомы перекрывали друг друга. В какой-то момент он задался вопросом, не было ли у него какого-нибудь рака, потому что если что-то и могло стремительно мутировать, это было наспех сделанное Кушиной деление клеток. Но. Нет. Он на самом деле не был ни коим образом физически ослаблен. Ничего не болело, и он не ударялся головой, и хоть иногда он и пропускал приемы пищи, его вес в общем и целом не падал.

Он почитал немного про нейрологию. Думание и выпадение из реальности были основными проблемами. После этого он пожалел, что вообще это сделал, поскольку изучение факта того, что основной человеческий орган обработки информации был, судя по всему, сделан из студня и протеина, вызывало ровно ноль оптимизма.

...Студень и протеин. Серьёзно. Что за фигня.

И отродье в конечном счёте заметило.

Оно пришло домой рано одним вечером, достаточно рано, что либо оно прогуляло свои вечерние классы, либо вообще не ходило в Академию, и залезло на одеяла, чтобы потрясти Кураму за плечо.

— Проснись и пой, Рама! Я принес тебе шоколадное пирожное!

Курама перевернулся на бок. Глаза отродья были в трёх сантиметрах от его лица. Когда Курама прищурился и издал раздражённо-вопросительный звук, оно широко улыбнулось. Свет был выключен, но дневного света было достаточно, чтобы всё видеть, и отродье было в сером свитере и вязаном шарфе. Оно подняло вверх белую коробку и потрясло ей. В воздухе разнёсся запах шоколада и сахара.

Курама сонно моргнул.

— Ты что?

— Шоколадное пирожное, шоколадное пирожное. С тройной помадкой и свежее!

Курама поморгал ещё, и отродье воспользовалось этой возможностью чтобы объясниться.

— Ты стал странным в последнее время, — сказала отродье с упором на слово "странным". Оно прозвучало как "стра-а-анным". Отродье плюхнулось клубком рядом с Курамой, и чакра потекла от него, как жар от летнего асфальта. — Я хотел взять тебя, чтобы разыграть болвана-Хидеки-сенсея, поскольку это всегда заставляет меня чувствовать себя лучше, но потом я спросил Чоджи. И он сказал, что если ты чувствуешь себя плохо, я должен принести тебе еды, и я спросил Шику то же самое, а он сделал этот звук, где он соглашается, так что я пошёл покупать сладости, но потом вспомнил, что Тетушка Акимичи делала эти новые пирожные, и я сказал ей, что ты плохо себя чувствуешь, и она дала мне одно бесплатно, — оно нахмурилось, пока Курама потянулся в сторону, чтобы хлопнуть рукой по коробке с пирожным. — Ты не сказал мне, что тебе было плохо. Тебе совсем плохо? Нам опять нужна эта сиропная штука?

Оно умоляюще посмотрело на Кураму.

— У меня нет простуды, — ответил Курама. Он открыл крышку коробки.

Отродье издало звук согласия.

— Ага. Я так и подумал! Ты злишься, когда простужаешься! Но ты не зол! И ты тихий. Это странно.

Пирожное было шоколадным, в белой керамической кружке. Наверху, скособочившись, лежала ложка свежего крема. Оно всё ещё было тёплым. Курама поднял маленькую пластиковую вилку, втиснутую между складок картона. Отродье снова открыло свой рот, и Курама проткнул аккуратно отрезанный кусок пирожного и сунул его отродью в рот.

— Я не голоден, — сказал Курама, пока отродье в замешательстве скосило глаза на вилку.

— Ты... не хочешь пирожного?

— Нет.

— Правда-правда?

— Да.

Отродье посмотрело на него с тем же выражением лица, как когда он вылил миску свежей, горячей, совершенно нетронутой лапши в грязь. Там было определённое соотношение ужаса и удивления. Бросившись вперёд, оно схватило Кураму за плечи. Если отродье не находилось в несуществующем личном пространстве Курамы ранее, то теперь оно определённо оказалось внутри.

— Рама, ты всегда хочешь пирожное! Что значит, ты не хочешь пирожное? Может... что-то плохое случилось? Что мне побить? Тётя-библиотекарь выкинула тебя из библиотеки? Это поэтому ты весь такой? Я определённо могу её побить!

Курама задался вопросом, помнило ли отродье последнюю свою стычку с пожилой женщиной. Провал — единственный способ её описать.

— Не бей библиотекаря.

Отродье схватило его за руку.

— Ты уверен?

— Совершенно, — ровным тоном ответил Курама.

Отродье выглядело неуверенно.

— Ладно. Я не буду ничего делать тёте-библиотекарю. Но... — его голос опустился до шёпота.

— Рама-Рама. Случилось что-то плохое?

Курама сделал неопределённый жест в сторону потолка своей вилкой.

— Лишь все нелепости во Вселенной, — после чего он закинул остаток пирожного в рот отродью, что дало ему примерно две десятых секунды тишины. Отродье посмотрело на него с униженным выражением лица белки, которая упала с высоты.

— Рама!

— Да, — сказал он.

Отродье боднуло его головой.

Голубые одеяла упали в сторону от силы удара. Локоть Курамы ударился о подушку.

— Ай.

— Так тебе и надо, — заявило отродье. Оно стукнуло лбом костлявый угол Кураминого плеча и бросило взгляд вверх, прищурившись и хмурясь. — Ты не рассказываешь мне ни о чём! Ты должен рассказывать! Особенно если случается что-то плохое! Тогда я могу побить то, что там случилось, и мы можем поесть рамена, и всё будет в порядке.

Курама закатил глаза.

— Твоими несуществующими мышцами?

— Я в школе ниндзя, — отметило отродье и напрягло бицепс. — У меня есть мышцы.

Все эти две секунды оно казалось обиженным этим замечанием. Но потом его руки упали по бокам, а выражение лица поменялось. Это выражение лица не было незнакомым, но также оно не было и одним из недавних воспоминаний: выпяченная губа и опущенные брови, которые — да, именно там Курама это видел. Младенческие воспоминания о том, как отродье кричало, стоило Кураме покинуть дистанцию касания — что за заноза. Оно опустило свою голову на сгиб шеи Курамы и тихо сказало:

— Но, Рама. Ты должен — ты должен пообещать рассказать мне, ладно?

Часы тикали.

Это было одной из тех вещей, над которыми нужно было смеяться, гнусно и слегка жестоко, но Курама не был в эти дни в настроении для смеха. Он не ответил. Он никогда не отвечал.

— Ты, болван, — добавило отродье, словно запоздалую мысль. Оно подняло свои руки и обвило их вокруг плеч Курамы осьминожьей хваткой, как будто ему снова было два и оно было не в состоянии отделиться от Курамы больше чем на пять минут за раз. Оно было очень, очень тёплым.

Курамы был очень, очень неподвижным. Он чувствовал себя немного похожим на статую, так апатично.

Потом отродье заснуло и обслонявило весь перед Кураминой футболки, и это стало концом того помутнения рассудка, которое было у Курамы. Он дал отродью приземлиться лицом в одеяла и встал, чтобы заварить себе чай.

На следующий день отродье вытащило Кураму к лапшичнику.

Поразительные количества свиного рамена исчезали в желудке отродья, пока лапшичник засыпал Кураму сладостями и маленькими кубиками жареного батата. Когда они закончили, отродье в деталях описало свой новейший план по превращению лица Сенджу Хаширамы в изображение гейши. Как оказалось, оно было не единственным, кто пытался вмешаться. Этим вечером Щенок зашёл через балкон с целым котацу, перекинутым через плечо. Он выглядел немного попачканным тут и там и всё ещё пах антисептиками. Они поужинали едой на вынос: жареной свиной грудинкой, темпурой и тремя мисками кацудона. Курама чистил мандарины на десерт, пока отродье и Щенок убирали старый кофейный столик и ставили на его место котацу.

На следующий день Человек-Обезьяна зашёл к Кураме в гости.

Отродье в самом деле было не единственным, кто пытался вмешаться. А ещё Курама собирался его придушить, потому что, очевидно, кто-то проболтался.

Котацу были подарком богов, и Курама был крайне поглощён этим новым и блестящим местом для сна, когда послышался стук. Покрывало было оранжевым. Жёлтые хризантемы были очерчены узором из тёмных квадратов. Оно было восхитительно тёплым и почти полностью поглощало его внимание.

А у Человека-Обезьяны был ключ. Если ему хотелось зайти, он мог впустить себя сам.

На это ушло две минуты. Щёлкнул замок. Чакра, немного похожая на тихо кипящий горшок с овощами, прошла через входную дверь.

— Менма-кун, — сказал Человек-Обезьяна, снимая свои ботинки. В кои-то веки на нем не было этой идиотски-безвкусной шляпы, а только красная мантия и белый плащ. Курама, лежа лицом вниз на столе котацу, пробурчал что-то неразборчивое в знак того, что он заметил его появление.

Человек-Обезьяна, чтоб его, ещё раз попытался поднять тему с Академией.

Эта беседа не могла никуда привести, вообще.

— Я уже сказал нет, — сказал Курама, приподнимая голову, чтобы нахмуриться.

— Ты не был здоров в последнее время, — отметил Человек-Обезьяна, медленно и неуклонно.

— И в твоём возрасте оставаться в одиночестве — это...

— Я уже сказал...

— Я помню твои взгляды, Менма-кун.

Курама лизнул кончики зубов. Он почувствовал, как его лицо неприглядно кривится.

— Тогда переходи к делу.

Человек-Обезьяна на мгновение замолчал.

Потом ровным, выверенным тоном:

— Академия пойдёт тебе на пользу, Менма-кун. Наруто-кун сильно её хвалит. Он рад другим детям. Ты скептичен, я понимаю, но я хочу, чтобы ты попробовал.

— Ага, ну а я не хочу пробовать.

Ещё одна пауза, в этот раз намеренная.

— Ты под опекой государства, Менма-кун, — сказал Человек-Обезьяна.

Гнев нахлынул волной.

Он почти забыл это чувство. И может быть это было лишь имитацией прежней ярости, привычка против этой темы, привычка против этого конкретного тона, но оно чувствовалось горячим и реальным в его ушах. Один блистательный момент он не мог думать ни о чём кроме этой волны белого шума из это будет означать сдаться да вы шутите да ни в жизни. Курама был в своей стихии.

— Ну и что, — ответил Курама.

\*\*\*

Однако, судя по всему, Человек-Обезьяна наконец-то решил достать свои козыри.

Конечный результат был следующим:

Курама будет ходить на учёбу три дня из обычных пяти. Он может пропускать дополнительные выходные, если захочет, и, разумеется, если он пожелает подняться на класс выше, он будет свободен это сделать. Это будет испытательный срок, заверил его Человек-Обезьяна, пока Курама всё ещё промаргивался от возмущения и неверия. Но ему нужно попытаться. По факту,

он будет вынужден попытаться. Щенок будет доставлять его на его место в классе каждое утро, если ему понадобится.

— Что, — сказал Курама.

— Ты можешь одолжить часть материалов у Наруто-куна, хотя меня проинформировали, что у тебя есть множество собственных, — добавил Человек-Обезьяна. Он осушил остатки своего чая, выглядя совершенно не раскaiвающимся касательно того, что он только что сделал. — Я договорился с Миозуми-сенсеем, что ты будешь на занятиях в понедельник восьмого числа. Я думаю, что Наруто-кун будет рад представить тебя своим друзьям.

В этом предложении было так много неправильностей, что Курама не мог отметить их все сразу. Пока он колебался, Человек-Обезьяна потянулся внутрь своей мантии, достал оттуда металлическую коробку печенья и поставил её на котацу. Это не было даже близко к эквивалентному примирительному подарку.

— Я думаю, что ты будешь ждать этого с нетерпением, Менма-кун, — сказал он.

И это было всё.

<http://tl.rulate.ru/book/58665/1502543>